

A black and white photograph of a person standing in the center of a long, dark tunnel. The person is seen from behind, wearing a dark coat. The tunnel walls are rough and textured, and the floor is wet and reflective. At the far end of the tunnel, there is a bright, circular light source, possibly a doorway or a large window, which illuminates the scene. The overall atmosphere is mysterious and dramatic.

Последнее место, где мы есть

Дмитрий Скворцов

18+

Дмитрий Скворцов

Последнее место, где мы есть

«Автор»

2026

Скворцов Д. И.

Последнее место, где мы есть / Д. И. Скворцов — «Автор», 2026

Кап. Между каплями — целая жизнь, чтобы вспомнить, как ты сюда попал. Ты на дне. Не в яме и не в пещере — внутри головы, вывернутой наизнанку, где стены дышат, а тьма имеет физическую оболочку. Здесь «я» и «ты» сошлись, как Луна и Солнце в момент затмения, и уже не разобрать, чей это голос ведёт рассказ вниз по ступеням. Их двое в одном теле. Они перебивают друг друга, но сходятся только в страшном и вспоминают вместе лишь одно: лицо, которое любили на двоих и погубили по-своему. Кто из них держал нож? И за кем теперь идти, если оба говорят одними устами? Кап.

© Скворцов Д. И., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Часть первая. Тьма во плоти	5
Глава первая. Те, кто уже обречены	5
Глава вторая. Вертеп	9
Глава третья. Anamnesis	12
Конец ознакомительного фрагмента.	14

Дмитрий Скворцов

Последнее место, где мы есть

Часть первая. Тьма во плоти

Глава первая. Те, кто уже обречены

Яначну с конца: с того момента, когда всё уже произошло и больше нечему происходить. Так будет честно. Честность – единственное, что осталось неизменным здесь внизу; всё прочее со временем отслоилось и опало, как опадает мясо с кости в тёплой воде или краска в обветшавшем доме.

Ты лежишь на дне. У этого дна нет дна – оно уходит вниз ровно настолько, насколько ты можешь падать, а падать можно бесконечно. Не пугайся, что яговорю «ты», думая «я». Здесь эти слова неразличимы. Здесь «я» и «ты» сошлись, словно Луна и Солнце в момент затмения. Но на дне чёрное солнце – это чрево Лилит, вечно поглощающее божественный свет. В этом месте нет Творца, есть только брошенная утроба, пожирающая собственные порождения.

Я– это ты, только тот, что ещё может ворочать языком. Постараюсь описать, где мы, потому что видеть выпало мне.

Это не яма и не пещера. Это внутренность. Стены сходятся и расходятся медленно, с той же мерностью, с какой движется грудная клетка спящего, и я не сразу понял, что они дышат, – а поняв, перестал на них смотреть, потому что дышащий камень хуже мёртвого. Они тёплые. Мокрый камень обязан быть холодным; этот тёплый, как кожа на солнце, и подаётся под пальцем так же, как подаётся дёсенная мякоть. Я веду по нему рукой и стараюсь не думать, по чему веду. По швам стен растёт что-то вроде плесени, но плесень не пульсирует, а эта пульсирует в такт, и, если прижать к ней ухо – а я прижимал, от скуки: скука здесь древнее страха, – слышно, как под коркой ходит жидкость, неторопливо, по кругу; так ходит мысль, которой не за что зацепиться.

Я быстро понял, из чего сложено это место. Из *меня*. Не из камня – из вещества, что было между ушами и звалось рассудком, пока рассудок был. Дно вылеплено по образцу головы изнутри: те же тупики, та же сырость, та же мерная капля, отмеряющая что-то, чего не остановить. Живое и мёртвое тут не спорят – живое есть мёртвое, дышит и гниёт одновременно.

Кап.

Кап.

Между каплями ровно столько, сколько нужно, чтобы один день твоей жизни всплыл, показал лицо, захлебнулся и утонул. Откуда у капель эта мера – скажу позже. Пока рано.

Спроси: за что? *Ты* хочешь спросить – я слышу вопрос изнутри, как слышат за стеной чужой кашель и ждут следующего против воли. Не трудись. «За что?» – вопрос тех, кто наверху, кто ещё верит, что есть счёт и есть кому его предъявить. Я в этот счёт не верил никогда. Скажу тебе сразу, чтобы *ты* не строил иллюзий насчёт того, чьим черепом *мы* делим эту камеру: люди для меня всегда были плотью. Ходячая, говорящая, оскорблённая в лучших чувствах плоть, которая очень обижается, когда её называют плотью. Я смотрел на человека и видел трепуху в чехле из кожи, видел, где чехол протёрся, и любил протёртые места – в них

удобно входить. Ни жалости, ни брезгливости. Я не презирал людей – презрение есть чувство, а у меня к ним не было чувств, как у праха к дуновению.

А себя я считал плотью наихудшего сорта. Падаль среди живой плоти. И это меня устраивало: падали ничего не должно, с падали нечего взять, падаль ниже стыда. Удобная позиция. С неё хорошо смотреть и хорошо делать что угодно.

(бездарный лжец. он пророчит не тебе – себе. так удобнее держать нож, если убедить себя, что и рука, и горло – просто плоть. слушай его, но знай: за этим холодом кто-то прячется, и этот кто-то когда-то умел плакать)

Это он. Тот, что говорит снизу, редко, тихо, словно шёпот змея в Саду. Он будет только встречать. Каждый раз тебе захочется ему поверить – он мягче. Не верь мягкости: мягким бывает и то, что уже давно гниёт от кости. Я объясню вас обоих в свой час; пока знай только, что нас двое в одном, и что говорю с тобой я, тот, у кого остались глаза.

Расскажу по порядку. Времени у меня вдоволь, у тебя же нет ничего, кроме времени, – впервые мы подходим друг другу.

Имени у меня нет. Имя – это ярлык, который вешают, чтоб отличать один кусок от другого; мне он не нужен, я и так знаю, что я за кусок. Если тебе неуютно без бирки – не вешай никакой. Так справедливо.

Я был тем, кто собирал чужие трещины. Не из выгоды даже – из любопытства анатома, которому всё равно, что резать, лишь бы внутри было на что посмотреть. У каждого где-то проходит надлом: у одного по гордости, у другого по той детской ране, что он сам забыл, а тело держит. Я видел эти линии так же ясно, как иной видит шрам. И умел нажать. Тихо, одним пальцем, в самое тонкое. Люди после этого делались хуже – и любили меня за это, потому что худшая версия удобна: ей не надо держать осанку, можно осесть, как оседает на гнилых сваях дом: медленно, почти со вкусом. В начале было Слово, говорят. В моём начале тоже стояло слово – только не творящее свет, а растворяющее то, что светило.

(неправда, что из любопытства. поначалу я видел трещину и хотел прикрыть её ладонью. только раз, только в самом начале. потом ладонь научилась нажимать, и я не сумел её удержать)

Слышишь, как он лезет со своим «прикрыть ладонью»? Может, и хотел. Руки-то были общие. И когда доходило до дела, ладонь не прикрывала – давила. Чья была воля? Вот он узел, что мы потащим вниз по ступеням. Не развязывай сейчас. Тяжёлый, наносишься ещё.

Стены вздохнули и сдвинулись теснее. Коридор сузился на ширину плеча, словно место прислушивается, когда речь заходит о воле, – будто ему важно, сознаюсь ли я. Я не доставлю ему такой радости. Я иду дальше, и оно расступается обратно, разочарованно, не нащупав в темноте того, за чем тянулось.

А теперь – погоди. Сейчас в этой требухе зажётся одно лицо, и я предупреждаю заранее: пока я буду говорить о ней, голос мой переменится, и ты решишь, что обознался, что говорит другой человек. Не другой. Тот же. Просто есть одно лицо, при котором даже падаль на миг вспоминает, что когда-то была живой. Имени её я тебе не назову – оно слишком чистое для этой главы, и я приберегу его до часа, когда смогу выговорить, не марая.

...И как только я думаю о ней, теплеет воздух. Странно: здесь не бывает тепла, а стоит её упомянуть – и будто отворили дверь в комнату, где топили, где сквозь пыльное окно ложится на пол косой и медленный предвечерний свет, и в этом свете висит, не оседая, тонкая золотая взвесь, и хочется стоять, и смотреть, как звездочёт.

(когда он говорит о ней, я выхожу из небытия и встаю рядом. это единственные минуты, когда нас двое, а не один поверх другого. о ней мы вспоминаем вместе. только о ней.)

Да. О ней – вместе. Это правда, и она дорого мне далась, эта правда; от неё мне не по себе.

Мы встретились в очереди – самое тусклое, самое плоское, самое невзрачное место для начала чего бы то ни было. Ночная аптека, гудящий ровно свет, за окном тот висячий дождь,

что не падает, а стоит в воздухе. Она держала перед собой рецепт и мяла его в руках. Лицо улыбалось провизору, выговаривало «спасибо» и «всего доброго» мягким воспитанным голосом, а руки в это время рвали бумагу в труху. Между лицом и руками шла трещина в целую жизнь шириной. Лицо держало порядок. Руки кричали. Я читаю людей по подобным мелочам – и её руки сказали мне всё прежде, чем я узнал имя: что её давно никто не спрашивал «как ты», что рецепт не первый и не к добру, и что она так одинока, что разучилась отличать тепло от внимания.

(а я в ту секунду хотел одного – накрыть её ладони своими. без расчёта. и это, клянусь тебе, было первое за годы, чего я хотел по-настоящему)

Вот тут *мы* разошлись впервые – внутри одного тела, у одной стойки. *Он* хотел согреть. Я смотрел на те же руки и думал: вот то, что сломается красиво, нужно лишь выбрать угол. Наружу вышло одно движение, один голос – я заговорил о дожде. Угол был выбран безупречно: голос звучал теплом, а вело его то, что не бывает тёплым. И она потянулась к теплу. Откуда ей было знать, что у плоти не бывает тепла, бывает только температура.

Она полюбила нас как одного человека, не зная, что нас двое, и всем своим оголодавшим, наивным сердцем понадеялась, что любит того из двоих, кто умеет греть. Она ставила на доброго. Так Ева выбирала между мужем и змеем, не зная, что слушает обоих из одних уст.

А теперь свет погас, и мы снова в этом пекле, и я договарю уже холодным голосом, тем, что мне привычней.

Яослеп. Не сразу – сразу было бы милостью, а мне милости в смете не значилось. Сперва по краям зрения проступила чернота, тонкая, как обугленный край бумаги, что начала тлеть с угла. Потом кайма поползла внутрь. Мир сужался день за днём, будто кто-то сводил створки огромных ворот, и я смотрел на остаток света в щель, и щель скудела. Те, кто наверху лечит, разводили руками и называли это длинно. Я знал короче. У того, кто всю жизнь только смотрел, отнимают глаза – это даже не кара, это простая опись имущества при выселении: забирают то, чем пользовался.

(нет. глаза погасли не у обоих. темнота легла на меня. на того, что хотел прикрыть ладонью. он остался зряч)

Онправ, и это единственная важная вещь в этой главе. Слепота досталась не нам – *ему*. Тому, что умел жалеть. А я, тот, что умел только смотреть, видеть – остался. С того дня телом правлю один я: слепому не встать за штурвал. Кара вошла не в ту дверь – или ровно в ту, если у того, кто её посылал, был вкус к иронии: ослепить мягкого и оставить зрячим холодного, чтобы мягкий отныне лишь слушал да щупал наугад, а вёл – холодный труп.

Последним, что попало в гаснущий круг, было отражение в тёмном оконном стекле. Лицо. И хуже слепоты было то, что лицо смотрело на меня с ухмылкой и интересом. С тем самым, анатомическим. Тот, кто умел лишь смотреть, смотрел теперь на нас обоих – и ему было любопытно, как мы это перенесём.

Створки сошлись. Свет ушёл для *одного* из нас.

Падение случилось после, но падение – почти отдых: всё значимое уже позади. Страшное произошло раньше, у окна: я понял, что это дно было во мне всегда, и я на него не рухнул – я просто вернулся домой, в единственное помещение, которое снимал пожизненно и без права съехать. Дом, где единственный свет – чёрное солнце надо лбом, и оно не садится.

Так вот ты где. Вот *мы* где. В голове, вывернутой наизнанку, где стены дышат, а капля считает дни.

Не спрашивай, есть ли выход. Спрашивай, чьим голосом ты станешь думать дальше – здесь, где впереди только время и только *мы*.

Кап.

Кап.

Между каплями – целая жизнь, чтобы решить.

Глава вторая. Вертеп

Слепому стыдно сознаваться, что у темноты есть форма. Но у этой есть, и я её знаю – вот первое, что я скажу тебе уже отсюда, со дна, где рассказ перестаёт быть памятью и становится тем, что происходит.

(я знаю эту форму. я, слепой. он видит её – а узнаю её я, на ощупь, как узнают шрамы на запястьях любимых)

Да, он прав в одном: место знакомо. Я веду тебя по нему, потому что вести могу только я – глаза остались мне, – а он идёт следом внутри тех же рёбер и трогает мир вслепую через наши общие пальцы и злится, что не он выбирает, куда им лечь. Поистине незавидная доля: быть совестью в доме, где хозяин – грех.

У этого места есть имя. Я дал его не сразу, я искал, как ищут слово для боли, которой прежде не знали. И нашёл старое, церковное. Вертеп. Прислушайся к нему. На святом языке вертеп – пещера, где родился свет, ясли, солома, звезда над входом. На языке улиц вертеп – притон, нора, логово, где собирается всё, что прячется от света. Одно слово, два дна. Как мы с тобой. Я живу теперь в Вертепе и не знаю, в какое из его значений я провалился – в осквернённую святыню или в пошлую нору. Думаю, это и не разделить. Думаю, в этом весь замысел.

Это не яма, как чудилось вначале. Дно сложено из стен, а стены – из коридоров, и коридоры эти я уже проходил. Не в колодце – наверху, когда ещё можно было остановиться – и не остановился. Вертеп выстроил себя по чертежу той памяти, кирпич в кирпич, и я понял это не глазами, а тем же чувством, что и он, слепой, – чувством, которое просыпается, когда вступишь в комнату, где однажды стряслось горе, и ещё с порога, ничего не зная, хочешь уйти. Нет тюрьмы крепче той, что узнаёшь. Ад, оказывается, не выдумывает новых ужасов. Он бережлив. Он переживает старые воспоминания, твои собственные, по твоей же мерке.

Пахнет железом – тонко, на самом пределе чутья, как пахнет монета, зажатая в кулаке слишком долго, или кровь, когда прикусишь губу и не сразу заметишь. А под железом – сера. Не та адская сера из проповедей, не жаровни и смола; нет, сера бытовая, спичечная, запах только что задутый свечи, той единственной секунды между огнём и тьмой, когда дымок ещё вьётся вверх, а света уже нет. Я всю жизнь любил эту секунду. Гасил свечу нарочно медленно и вдыхал. Теперь меня поселили внутри неё навсегда, и шутка эта слишком тонка, чтобы не быть умысленной.

Свет тут есть – для меня, не для *него*. Скучный, из ниоткуда, серый, как из-под закрытой двери в коридор: видно ровно настолько, чтобы различать, и ровно настолько мало, чтобы всё различённое пугало. Я вижу мокрый блеск на стенах. Вижу, как коридор уходит и заворачивает, и знаю наверняка – за поворотом дверь. Та самая.

И я в коридоре не один.

Не пугайся прежде меня – у меня фора, я ведь давно знаю, что бояться поздно, поздно было ещё наверху. Но что-то есть. Оно не дышит, не шаркает, ничем себя не выдаёт, по чему его можно было бы назвать. Знаешь то чувство в тёмной спальне, когда не видишь и не слышишь, а кожей чувствуешь: дверца шкафа открыта? Воздух стоит иначе, часть темноты сделалась гуще прочей. Оно держится там, куда я не смотрю. Поворачиваю голову – и сгусток отступает ровно настолько, чтобы остаться без имени, словно стыдится быть пойманным взглядом. Или выжидает, пока подойду сам. Про себя я зову его Тень, хотя тени положены хозяин и свет, что её отбрасывает, – а здесь нет ни того ни другого; она существует сама собой, *sui generis*, без тела и без огня.

И вот чего я не скажу ему, стучащему снизу, но скажу тебе, потому что тебе всё равно некому передать: я не уверен, что Тень – не *мы*.

(я тоже это чувствую. и боюсь того же. что третий – это шов между нами, ставший толщиной с человека)

Вот видишь. Сошлись во мнении впервые. Дурной знак: мы сходимся, только когда оба правы в страшном.

Кап.

Слышишь? Воды по-прежнему нет, а капля упала. И теперь я скажу то, что обещал: эти капли не случайны. Они отмеряют. Между ними ровно столько, сколько надо, чтобы всплыло одно лицо. Одна ступень. Вертеп бьёт в барабан нашей памяти мерно, как тюремщик обходит ночью камеры и стучит по решёткам – все ли на месте, никто ли не сбежал в смерть раньше срока. И на этой капле – вот на этой, сейчас, – поднимается её лицо, которое я запретил себе трогать, а Тень, кажется, только того и ждёт.

И вот теперь я назову её – здесь, в Вертепе, где всё равно некому осквернить это слово, кроме меня. Агнесса.

(он впервые произнёс имя. слышишь, как у него дрогнул голос? у меня – обвалился)

Агнесса. Я столько раз держал это имя на языке, не выпуская, что оно стёрлось до гладкости речной гальки. Теперь выпускаю. И вместе с именем – её лицо, которое я прятал от тебя в первой главе, потому что в свете оно невыносимо, а в темноте – единственное, что светит.

Дай я соберу её для тебя по черте, медленно; столь трепетно подбирают жемчуг с пола разорённого храма. Глаза карие, среднего размера, тёплого орехового тона – не тёмные настолько, чтобы прятать зрачок, а такие, в которых видно самое дно, всю тину и весь свет разом. Перед ними – большие очки в тонкой оправе, чуть велики ей, и она то и дело подталкивала их к переносице средним пальцем, коротким извиняющимся движением, будто просила прощения за то, что вообще смотрит на этот мир. За стёклами глаза казались крупнее, беззащитнее, как у существа, вытасченного на свет из норы. Волосы тёмно-коричневые, на концах чуть секущиеся, непослушные, – она их не холила, ей было не до того. По переносице и скулам – россыпь веснушек, бледных, как будто кто-то стряхнул над ней корицу и забыл смахнуть. А под нижней губой, слева, родинка. Одна. Я знал расположение каждой трещины в каждом человеке, что встречал, но у неё запомнил не трещину – запомнил эту родинку, и до сих пор не прощу себе, что запомнил по ней живое, а не уязвимое.

Невысокая, зябкая; плечи всегда поджаты к шее, рукава натянуты на пальцы – тело словно само себя обнимало, не дождавшись других рук. Пахла она дождём и ромашкой. И была в ней та особенная красота, что не бросается навстречу, а открывается на второй, на третий взгляд – и, открывшись, уже не отпускает. Глаза её были чуть опущены к вискам, отчего лицо казалось заранее печальным и заранее простившим. Я принял эту печаль за слабость, в которую удобно стучать. Я был слеп ещё тогда, зрячим. Это была не слабость. Это была доброта, которая видела меня насквозь и всё равно осталась.

Вот кого я держал в руках. Вот что я взял – и не понял, что взял, пока не лишился.

(он и сейчас ничего не понял. но отдам ему должное: он уже ближе, чем за всю жизнь наверху. слушай его. он подходит к краю того, что мы натворили)

Я рассказал тебе, как мы встретились, но не рассказал, что было между той аптекой и этим дном. А Вертеп не пустит меня дальше по коридору, пока не доскажу: он терпелив, он стоял здесь прежде меня и простоят после. Пусть и Тень послушает – может, она затем и сошла сюда, чтобы я наконец выговорил это вслух.

Но прежде ответь мне на один вопрос, тихо, про себя, потому что от твоего ответа я поведу рассказ той или этой дорогой. Сейчас, когда ты увидел её всю, – кого ты пожалел? Её, попавшую в наши руки? Или меня, у которого руки оказались такими?

(не отвечай ему слишком быстро. он спрашивает не чтобы знать. он спрашивает, чтобы примерить твою жалость, как примеряют чужое пальто – не теплее ли оно своего)

Кап.

И между этой каплей и следующей нам решать, чьим голосом ты только что пожалел.

Глава третья. Anamnesis

Беда подкралась к ней так же, как ко *мне* подкралась слепота, – с краёв, исподволь, явно присутствуя, но не объявляя себя. Только у меня уходил свет, а у неё уходило прошлое.

Сперва мелочи. Она ставила чайник и забывала, что поставила; находила его остывшим через час и хмурилась, не помня, зачем грела воду. Дважды переспрашивала, как меня зовут, в один и тот же вечер, и оба раза смущённо смеялась над собой. Я успокаивал. Это, говорил я, усталость, это всё мы, это возраст шутит. Я знал, что лгу. Я уже тогда видел: с ней творится то, чему врачи дадут длинное имя, а суть простая – её память осыпалась, что лепестки цветка, возложенного на могилу.

Anamnesis – так на языке медицины зовут историю болезни, всё, что человек помнит о своих хворях и приносит врачу как опись. Слово греческое, и значит оно буквально «припоминание», «не-забвение»: в литургии так названо то самое воспоминание, которым живые держат при себе тех, кого уже нет. Какая злая шутка. У неё отнимали именно anamnesis – не-забвение, способность нести своё прошлое при себе. Её делали человеком без истории болезни, без истории вообще, чистым листом, который заполняет тот, кто рядом.

А рядом был я.

(вот здесь, именно здесь начинается то, чего я не мог остановить, хотя кричал изнутри так, что должен был порвать нам глотку)

Пусть кричит. Толку от его крика было как от стука дождя в стекло – слышно, но никто не ответит. Я объясню тебе спокойно, без надрыва, как это делается, потому что ты должен понять не ужас, а суть ужаса; ужас без сути – просто страшная сказка, а его суть – это зеркало, в которое ты сам однажды поглядишься.

Когда у человека осыпается память, он перестаёт доверять себе и начинает доверять свидетелю. Свидетель помнит за него. Свидетель говорит: вчера было так; ты сказала то; мы условились об этом. И чем меньше у неё оставалось своего прошлого, тем больше она зависела от его версии за моим авторством. Я стал её памятью. Ты можешь хотя бы представить, какая **власть**? Не власть тюремщика над телом – это грубо и временно. Власть летописца над тем, чего уже не проверить. Я мог переписать ей вчерашний день, и ей нечем было меня уличить, кроме доверия, а доверие у неё было то самое – вера, которая не ищет доказательств, но уже нашла палача.

И я переписывал.

Не сразу начисто. Это делается тоньше. Сначала – мелкие выгодные правки. Она тревожилась, что обидела кого-то, – я говорил: нет, что, наоборот, ты была добра, это тебя обидели. Ей становилось легче, она была благодарна. Видишь? Первая ложь была подарком. Её всегда подают как подарок. Потом правки покрупнее: люди, которые могли бы её любить, в моём пересказе оказывались теми, кто её предал; звонки, которых она не помнила, я толковал как доказательство, что от неё отвернулись все, кроме меня. Я выпалывал из её осыпающегося сада каждого, кто мог бы стать ей опорой, – пропалывал чужими руками её собственного беспамятства. И сад пустел, и посреди пустого сада оставался я, единственный, кто «помнил», единственный, кому «можно верить». В старые времена лжепророков побивали камнями; в новые им носят чай и благодарят за доброту.

Лекарства она пила исправно – те, по тем рецептам, что мяла когда-то в аптеке. Только я научился подменять лекарство словом. Доза врача замедляла осыпание; моя доза – ускоряла. Я не трогал таблеток, упаси бог, к таблеткам не подкопаешься. Я трогал смысл. Говорил, что ей становится хуже оттого, что она нервничает из-за других; что покой ей дам только я; что весь мир для неё опасен, а я – единственная тихая комната. И она верила, потому что проверить

было нечем: её anamnesis, её опись прожитого, я держал в своих руках и выдавал по капле, как тюремщик выдаёт воду.

Кап.

Да. Вот откуда у здешних капель их мера. Я понял это только что, проговаривая. Вертеп отмеряет мне память по капле – ровно так, как я отмерял память ей. Что я делал с её прошлым, то теперь делают с моим: выдают дозированно, заставляют пить через силу, и каждая капля – день, который я предпочёл бы забыть, а мне не дают. Здесь ничего не придумано заново. Здесь всё моё, вывернутое на меня. Я же говорил: ад бережлив.

(он называет это «суть». у сути нет лица. а у того, что мы делали, было её лицо, и оно тускнело с каждым днём, и в последние недели она смотрела на меня и спрашивала: «мы знакомы?» – и он отвечал: «я твой единственный близкий». и это было одновременно ложью и самой страшной правдой)

Помолчи.

...Нет. Пусть будет так, как он сказал. Он прав. «Я твой единственный близкий» – я повторял ей это, когда она уже не помнила ни своего смеха, ни города, где росла, ни даже тех, кто был ей когда-либо важен до меня. Я стёр ей всех соперников до единого – не убийством, изящнее: я просто не напоминал о них, а память, лишённая напоминания, отмирает, как отмирает рука, которой не двигают. К концу у неё остался один человек во всём прошлом, настоящем и мыслимом будущем. Я. Я был и её болезнью, и её единственным лекарством, и она держалась за меня тем крепче, чем больше я её разрушал. Так идол заставляет молящегося целовать камень, которым его раздавят.

И вот теперь скажу тебе то, ради чего, наверное, и затеян весь этот спуск.

Я думал, что забираю её память. На деле я забирал её – всю, по частям, и не замечал, что забираю не добычу, а единственное, что когда-либо любил. *Тот*, тихий, кричавший из-под низа, он-то знал это с самого начала. Он любил её прямо, как умеют любить только безоружные. А я... я понял, что держал в руках, лишь когда руки опустели и потемнели глаза. Слишком поздно – это, кажется, моё второе имя.

Я остановился у поворота коридора. Дальше – дверь, я говорил тебе. За ней комната, в которой всё случилось, и Вертеп ведёт меня туда, не торопя, но и не отпуская. И вот, стоя у поворота, я наконец позволил себе обернуться и посмотреть на то, что давно шло за мной по пятам.

Дай рассудить здра

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.